

ИГОРЬ БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ



В ДВЕРЯХ

РАССКАЗ

Старенький утюг фыркает, плюётся паром и будто сердает на мятую пересушенную фланель отцовой рубахи. На чёрной рукояти зажглась оранжевая лампочка — видимо, нужно повернуть диск нагрева в другой режим, но я сразу не догадываюсь, добавляю ещё воды и в десятый раз прохожусь по непослушным манжетам. Пар рычит под уютным гнётом, обжигает мне руку, на ткани откуда-то появляется намертво заглаженная нелепая складка, и с этой складкой вообще ничего нельзя поделать...

То, в чём отец ходил и на чём спал последнюю неделю, мы вместе с ним утром, в день отъезда в госпиталь, постирали в машинке и наспех, не расправив как следует, развесили на верёвках. И вот, позабытое, всё давно высохло в нашем длинном глухом коридоре, в конце которого на стене, под самым потолком, сколько себя помню, пылится распятие.

Я трогаю его вещи, которые при благоприятном исходе понадобятся ему месяца через полтора — не раньше, а может, через два или три, если что-то пойдёт не так. Надо всё выгладить, аккуратно сложить и убрать в шкаф, и в кои-то веки я глажу старенькое запятнанное подшитое бельё, и меня душат слёзы. Папу готовят к операции.

Мы живём вместе, и у нас странный, если не сказать — неправильный уклад, всё не как у людей: сейчас в привычном понимании слова работает только моя жена Оля — встаёт в шесть утра и, оставляя после себя на кухне ароматы кофе и духов, уезжает на весь день. Родители давно на пенсии,

---

*БЕЛКИН Игорь Анатольевич родился в 1972 году в Москве. В девяностые годы после службы в армии работал грузчиком, охранником, продавцом книг, внештатным корреспондентом в газетах, менеджером в коммерческих структурах. Учился на факультете истории искусства РГГУ. Художник и литератор. Печатался в журналах "Пограничник", "Смена" и других. Живёт в Москве.*

но всё силится тянуть наш воз, а я... А я на годы застрял в кашканы своей свободной профессии... Кто-то скажет — “художник”, кто-то — “бездельник”. Пускай. Это временно, когда-нибудь всё наладится, выправится, моя дочка немного подрастёт и перестанет часто болеть, пропуская садик, а я выйду, наконец, из роли няньки и домохозяйина, развернусь и воспряну. Сниму мастерскую и найду заказчиков и, быть может, ценителей. А может, и нет. Меня удивляет, как быстро я отстаю от жизни, отвыкаю от людей, города, внешнего мира и красок, а возня с ребёнком, кастрюлями и пылесосом даже начинает мне нравиться. Отвести и забрать дочку, пройтись с утра по продуктовым магазинам — для меня это уже выход в свет. Для меня это уже труд.

До последнего времени весь быт держался на нас с отцом. Если не кривить душой — чаще на нём. Наши женщины не делают женскую работу. У мамы то давление, то депрессия, то бесплодные попытки перевести мои и её собственные творческие поиски в материальные победы. А жена не хлопочет по хозяйству, потому что очень устаёт, зарабатывая деньги на меня и на Свету, на отпуск и на тряпки.

Многое уже пошло не так. Мы все на нервах: то ругаемся, то просим друг у друга прощения за болезнь отца. Мы теперь всегда подавлены, мама плачет каждые полчаса — словно по расписанию, Оля не знает, как себя вести, и поэтому отстранённо отмалчивается, и только Светлашка, приходя из садика, звонко сообщает, что ей весело, потому что выздоровели две подружки, а ещё на полдник в группе давали любимую яблочную запеканку.

— А где дедушка? — опомнившись, завершив садовый рассказ, добавляет она, и мы тихо выдыхаем:

— В больнице...

— А кто варил борщ? Папа? А у дедушки вкуснее. А дедушке делают укол?

— Да...

— А я не боюсь уколов! — взрывается озорным весельем моя дочка и со всех ног несётся в комнату лечить куклу.

Мы ждём дня операции: отец — на больничной койке, с толстой книжкой кроссвордов, мы — дома. У нас обновился семейный лексикон, в квартире то и дело вполголоса звучит медицинская речь: говорим об УЗИ, томографии, диагностике и анестезии. Ещё — о новообразовании. Мы привыкаем к мысли, что это злокачественное новое образование — для всех нас. Со скрежещущим хрустом, как скальпель — большую плоть, кромсает напряжённую тишину нашей квартиры непонятное и злое слово “карцинома”. “...Ома, — концертным эхом отзываются расплывчатые строчки в медицинском справочнике, когда их пытается читать вслух мама, — липома, бластома, атерома...”

В её голосе слышны интонации поэтов-шестидесятников. Мама тоже когда-то читала стихи со сцены. У неё был талант декламатора, но, постоянно переезжая с места на место вслед за мужем, она впустую растратила свой дар на холодных гарнизонных подмостках.

Он впервые пожаловался на боль в боку совсем недавно. Сразу исхудал, помрачнел, и всё понял, тем не менее твердил, как спасительную мантру: “Это камни... Потерплю, скоро выйдут”.

“Карцинома”, — подглядел я в его медицинской карте, когда месяц назад он, с виду постаревший сразу лет на десять, вернулся из поликлиники. Тогда мы никому ничего не сказали — ни он, ни я. И теперь это слово режет на куски всю нашу жизнь, которая, как выяснилось, была, несмотря ни на что, счастливой.

Каждое обследование опарашивает нас новостями: ещё один очаг, ещё одна “ома”, ещё одна боль. По телефону из отца вытягиваем клещами правду — по узелочку, по ниточке, по метастазе...

— Ты когда приедешь, завтра? — серьёзно выспрашивает Светлашка, а из мобильного телефона слышен вымученно-весёлый голос:

— Нет, не завтра, но, наверно, скоро...

На экране светится улыбкой фотография отца. Светлашка какое-то время силится оживить дедушкин образ взглядом, но, в конце концов, теряет и к телефону, и к разговору всякий интерес.

— Через полтора месяца, — чинно, как взрослому человеку, сообщаю я ей правду, когда выключая связь. — Это не скоро.

— Это никогда? — почему-то задаёт она детский вопрос.

— Мне нужно на сигареты и электричку, — буднично заявляю Оле в день папиной госпитализации.

Такое ощущение, что я подросток и прошу деньги у матери. И чувствую себя виноватым в том, что не умею зарабатывать. Оля, выдав мне купюру, уходит. А мама спит — всю ночь не сомкнула глаз — бессонница, депрессия, переживания, кошмары. Опять сто семьдесят на сто тридцать. Мы, мужики, вешаем бельё и, наконец, сами собрав себя в дорогу, едем.

Нелепая старая сумка — не понять, пляжная или спортивная, весёлых радужных цветов, бывшая мамина — оттягивает отцу плечо, пока мы медленно идём с ним вдоль заснеженной платформы. Он ступает тяжело: видно, что нутряная боль не шуточна, и ему стоит больших усилий держаться, как раньше. Мы оба мёрзнем, и он закошелел явно сильнее, но не сознаётся. Свою ношу со спортивным костюмом, халатом, тапочками, старой кружкой и кроссовками он не отдаёт и даже со злостью вырывает из моих рук, когда я пытаюсь помочь. Сам. Всё всегда сам. Военный... Он унижен своей болезнью, пенсией, внезапно нагрянувшей старостью.

Госпиталь за городом. Пока мы сорок минут сидим в теплом вагоне, он вспоминает всю свою жизнь, словно ему необходимо выбрать из неё те фрагменты, которые он возьмёт с собой в операционную и будет бесконечно просматривать под наркозом. Я слушаю его и вдруг понимаю, что, случись подобное со мной, мне нечего было бы вспомнить из прожитого, потому что и сейчас, когда я сосредоточенно смотрю в окно, на самом деле ничего не вижу, не слышу и не чувствую.

— Береги маму, — напутствует он на прощание, когда я определяю его в приёмный покой.

Он недоволен сыном — я давал ему мало поводов мной гордиться. Но сейчас не это его тревожит.

— Спасибо тебе, что проводил, — тихо говорит мне, когда за ним приходят из отделения.

Он ковыляет за санитаром, опустив голову, роняет из рук куртку, которую скоро отдаст на хранение, и, мучаясь, силится наклониться за ней. Для него этот долгий, в светлом ракушечнике, коридор — самый трудный в жизни. Он очень боится. Его страшат наркоз, беспомощность, отводные трубки, которые будут торчать из тела, и наша нарочитая жалость — мы не имеем сил скрыть её и неумело прячем под масками: кто — депрессии, кто — чёрствости.

Пока шли обследования, мы с мамой были у него один раз: палата на троих, череда соседей. Кого-то привозят в бинтах на каталке, кто-то, поправившись, выходит через главный вход, ещё кого-то увозят навсегда через лабиринты цоколя.

Он быстро устаёт от нас и выпроваживает к кабинетам врачей.

Завотделением знакомит с хирургом, хирург — с анестезиологом, каждый из специалистов сначала отмахивается, но потом всё-таки берёт заготовленные нами из отцовской пенсии деньги, благодарит, обещает максимум внимания, подбадривает...

Час “икс”. Мы разъезжаемся по разным церквям молиться и ставить свечки. Читаю про себя “Отче наш”, но мысли мои не в храме, а где-то за городом, в сорока минутах езды на электричке, в длинном холле из ракушечника. Там, в самом конце коридора, не видно распятия под потолком, зато начинает литься мягкий белый свет, едва санитар приоткрывает створку широких дверей.

Отца, возможно, оперируют прямо сейчас. А он спит. Что ему грезится, снится? Я почему-то уверен, что под этим общим наркозом он по-прежнему чувствует и понимает гораздо больше, чем я, в трезвой памяти стоящий перед иконостасом.

Ни анестезиолог, ни хирург, ни заведующий не будут снимать трубку в течение всего дня. Вечером вернется с работы Оля. Её звонок в домофон вытащит нас с мамой из комнат. Мама испугается, что вдруг это уже приехал отец, что операцию отменили, прервали, потому что, мало ли, — уже поздно и опухоль неоперабельна. Вообразит, что она откроет сейчас дверь, а он, отказываясь проходить внутрь, останется стоять, подпирая плечом дверной косяк, и радужная пляжная сумка съедет с исхудавшего плеча на пол.

Она представит себе, — если это и впрямь окажется он, вернувшийся доживать опущенные недели, — как выбежит к нему Светлашка и как детский смех, обычно радующий душу, ляжет на сердце стальным хирургическим холодом:

— Дедушка вернулся! Дедушку вылечили! Ура-а!

Но, слава Богу, в дверях будет стоять Оля.